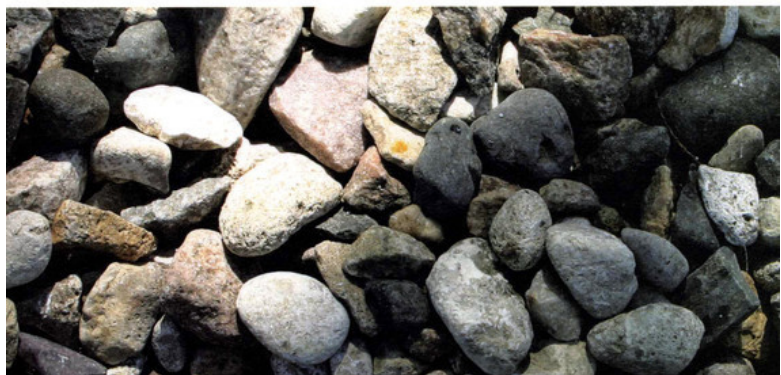




Лев Лосев
Меандр



Лев Лосев

Меандр

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3086605

Меандр: Мемуарная проза: Новое издательство; Москва; 2010

ISBN 978-5-98379-131-2

Аннотация

Издание объединяет мемуарную прозу поэта и литературоведа Льва Лосева – сохранившуюся в его архиве книгу воспоминаний о Бродском «Про Иосифа», незаконченную автобиографию «Меандр», очерки неофициальной литературной жизни Ленинграда 50-70-х годов прошлого века и портреты ее ключевых участников. Знакомые читателю по лосевским стихам непринужденный ум, мрачноватый юмор и самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки и интонации этого невымышленного повествования, в свою очередь, звучат в унисон лирике Лосева, ставя его прозу в один ряд с лучшими образцами отечественного мемуарного жанра – воспоминаниями Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича.

Содержание

О мемуарной прозе Льва Лосева	4
1	7
Генетика, гениальность	7
Лица	21
Идиолект и стиль	25
Кошки и мышь	31
Резкость	36
Потомки и современники	38
Цветаева	41
Америка	43
Мои стихи	48
Я старше Иосифа?	55
Случай на площади Контрдэскарп	67
«Украдены Ключи Вселенной»	73
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Лев Лосев

Меандр

О мемуарной прозе Льва Лосева

В 2007 году у себя дома в Ганovere, в Новой Англии, Лосев обмолвился, что пишет воспоминания, и по моей просьбе сделал для меня копию готовой части книги под названием «Меандр». Я спросил, что это такое. Лев Владимирович объяснил игру смыслов в заглавии: причудливые петли реки и в то же время – геометрический узор. Оба значения переносные – от греческого *Maiandros*, имени извилистой речки в Малой Азии.

Название для книги мемуаров очень точное: с одной стороны, «воспоминанье прихотливо» и петляет, как речное русло, с другой – по ходу рассказа в неразберихе индивидуальной памяти может обнаружиться, будто ритм в орнаменте, логика прожитого.

Литературная автобиография «Меандр» осталась незавершенной: 6 мая 2009 года Лев Лосев умер. Но и в неоконченном виде она представляется замечательным произведением отечественной мемуарной прозы, соизмеримым, на мой взгляд, с мемуарами Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича и др.

«Меандр» как всякая честная автобиография – одновременно и картины прошлого, и «роман воспитания». На закатном свете преклонного возраста автор разглядывает себя же в детстве, отрочестве и далее, словно «кристалл, из которого начинает разрастаться человеческая личность»; разглядывает автора и читатель. И в этом смысле книга «Меандр» еще и впечатляющая история ответственной жизни, прожитой на свой страх и риск – в выстраданном согласии с избранным поприщем и нравственной взыскательностью. Перед читателем своего рода «патент на интеллигентность».

Знакомые читателю по стихам Льва Лосева непринужденный ум, мрачноватый юмор, самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки, естественные интонации этого невымышленного повествования звучат, в свою очередь, в унисон лирике. Судя по всему, автору дано было исполнить старинную заповедь «живи, как пишешь, и пиши, как живешь». Память Лосева на редкость бескорыстна и добросовестна и внушает очень большое доверие. Так что «Меандр», помимо прочего, еще и ценный комментарий к жизни и творчеству и самого поэта, и целого круга его современников.

В том же ключе написана и остальная мемуарная проза Лосева, что позволило издателям распространить название «Меандр» на весь настоящий том. Такая же психологически убедительная «меандрическая» манера свойственна и воспоминаниям об Иосифе Бродском. Другой раздел книги состав-

вили мемуарные эссе, публиковавшиеся Лосевым на протяжении двух последних десятилетий. Как правило, написанные по случаю, эти очерки мыслились Лосевым частью «Менандра»¹, однако в силу своей композиционной самостоятельности они уже не поддаются механическому включению в его состав, а потому и напечатаны отдельно. Равно как и воспоминания Лосева о его единственном и, увы, несчастливом приезде на родину в 1998 году.

Эту книгу я читал неоднократно: сначала на правах частного лица в рукописи, потом – немного помогая «Новому издательству», но и чтение, и перечитывание доставляли неизменное удовольствие. И я поздравляю любителей литературы с серьезным и отрадным событием – изданием наиболее полного на сегодняшний день собрания мемуарной прозы Льва Лосева. Уверен, что книге суждены интерес и любовь читателей не одного поколения.

Сергей Гандлевский

¹ Подробнее о принципах, которыми руководствовались составители настоящего издания, говорится в завершающей книгу заметке.

1

Про Иосифа

Высшее, чего может достигнуть человек, – заметил Гете по этому поводу, – изумление.

ЭККЕРМАН

... простое ясное изложение фактов привлекательно с чисто литературной точки зрения.

[SIR] ЛЕСЛИ СТИВЕН²

Сиди себе и кропай про Иосифа, как про Москву написал.

НИНА

Генетика, гениальность

«Лежим мы с Иосифом на кладбище...» – я сказал Иосифу, что начну когда-нибудь такой фразой свои мемуары, и рассмешил его. Вообще это не слишком часто мне удавалось, потому что его смешили каламбуры, а каламбурить меня смолоду отучали Виноградов и Еремин. Они считали калам-

² Известный в свое время писатель, да еще и отец Вирджинии Вулф; это он сказал о Дефо.

буры низшим сортом юмора, пригодным разве что для нашей халтурной детской драматургии, и, если я или кто другой не удерживался и каламбурил, с аффектированной укоризной говорили: «Фу-у!» Так собак отучивают от дурного поведения. (Еще Иосиф любил сальные, «солдатские», анекдоты, но это интересная и сложная тема, ее мы отложим.)

С годами, в удалении от моих цензоров, в Америке, запрет стал ослабевать, и я уже реже удерживался от каламбуров, особенно в разговорах с Иосифом. Иногда он реагировал на них не смехом, а профессионально. Например, когда я, зацепившись за что-то в разговоре, ляпнул: «Мертвые Lebensraum'у не имут», – Иосиф сказал: «Пригодится для художественного произведения». И действительно пригодилось. В последний раз я услышал, как он от души рассмеялся, в середине нашего последнего долгого разговора, примерно за месяц до смерти. Это было, когда в ответ на его рассказ о неблагоприятном поведении, житейском и литературном, Г.Г. я процитировал первую строчку своего стихотворения «Записки фокстерьера о хозяйке...» Он попросил прочесть до конца, но я сомневался, что остальное в стишке ему понравится, и сказал, что лучше пришлю, но послать уже не успел.

На кладбище мы действительно валялись долго в очень теплый день 22 октября 79-го года. Это был мой первый год в Нью-Гемпшире и первый из нечастых приездов Иосифа к нам в Дартмут. Мы пошли побродить по городку и забрали

на самое старое кладбище ГанOVERA. В наше время оно оказалось в центре кампуса, между зданием большой студенческой столовой и комплексом общежитий, – небольшой участок под высокими соснами, тонкие, сверху закругленные мраморные доски надгробий торчат по здешнему обычаю вертикально, как серые пятнистые, замшелые спинки кроватей. Мы бросили пиджаки на покрытую теплыми желтыми иглами землю, легли навзничь, глядели на синеву и тонкие нити бабьего (индейского) лета. Думаю, что наша болтовня мало отличалась от посвистывания синиц, чижигов и дятлов. Птицы праздновали над кладбищем хорошую погоду.

Я совершенно не помню, о чем мы говорили, разговор был глубже и важнее своего содержания. Подслушать нас могли только немногочисленные Брэдли и Мак-Натты, усопшие, когда республика была еще молода, а то и подданные короля Георга III.

Мой пиджак, с которого потом я стряхивал желтые иголки, был с плеча Иосифа, а прежде с какого-то анонимного плеча. Иосиф недолюбливал новые вещи. Если покупал что-то новое, то старался поскорее обмять, обносить. Он приехал в Нью-Йорк в середине 70-х, когда в Нижнем Манхэттене было полно заброшенных зданий и трава пробивалась из трещин асфальта на пустых боковых улицах. Тогдашние молодые писатели и богема воспринимали экономический упадок элегически – поэтика руин. Снимали за гроши полуразрушенные мансарды. Одевались в поношенное из магази-

на Армии спасения или со склада армейских излишков. Пацифисты щеголяли в шинелях со споротыми погонями. Эта мода совпадала со вкусами Иосифа. В Гринвич-Виллидж, за углом от него, на Хадсон, был большой магазин поношенной одежды, где Иосиф обожал рыться. Зажиточные, но расчетливые ньюйоркцы, надев несколько раз за сезон новый твидовый пиджак или блейзер от Билла Бласса, освобождали место в своих гардеробах для одежды нового сезона. На Хадсон это добро, пройдя химчистку, продавалось по десять-пятнадцать долларов, то есть в пятнадцать-двадцать раз дешевле, чем новое. Иосиф покупал там пиджаки ворохами. Рассказывал мне, что иногда ходит туда с другим любителем старья, Алленом Гинсбергом (я думаю, это было единственное, что их объединяло). «Аллен купил себе смокинг за пять долларов!» (Я думал: зачем битнику смокинг?) В результате с Хадсон на Мортон-стрит перекочевало такое количество одежи, что, открывая свой гардероб, Иосиф рисковал быть погребенным под твидовой лавиной. Он щедро раздаривал это добро знакомым. В том числе приодевал и меня, что было очень кстати в те тощие годы. В марте 1980 года, когда задумывалось издание его трехтомника, я привез ему для отбора текстов свои четыре тома машинописного марамзинского собрания (у него у самого не было). Мы не успели справиться с работой, Иосифу надо было ехать куда-то из Нью-Йорка, а мне возвращаться в Дартмут, он попросил оставить на несколько дней марамзинские тома. Я

уезжал после него и оставил на томах записку: «Уезжаю в 8-ми пиджаках, в 2-ух штанах и в глубокой тревоге, что оставил в неверных руках драгоценные жизни итоги...» и т. д. Он потом сказал свой обычный комплимент: «Это лучшее, что вышло из-под твоего пера...» Не все, кому приходилось такое от него слышать, обращали внимание на релятивность похвалы. Я сносил несколько Иосифовых пиджаков, прежде чем в одно прекрасное утро вдруг задумался: а почему, собственно говоря, они мне впору?

Ибо я всегда полагал, что Иосиф больше меня – выше и крупнее. Выходит, он мне только казался таким? Но дело было все-таки не во мне.

Я вспомнил одно странное впечатление из тех дней, когда и Иосиф, и я, и Уфлянд, а еще раньше Марамзин, халтурили на «Ленфильме» на дубляже иноязычных фильмов. Однажды я шел по центральному коридору студии на смену. Была середина рабочего дня, по коридору спешило много делового народа, но, как всегда бывает на киностудии, все не забывали и посматривать по сторонам – не пропустить бы какое звездное явление. И вот я увидел, что навстречу мне с дальнего конца коридора что-то такое приближается, какой-то человек-флагман, перед которым расступаются ленфильмовские волны, – Смоктуновский? Анджей Вайда? Марчелло Мастоаянни? Через несколько секунд я увидел, что это идет Иосиф в своем старом единственном костюме, помахивая рыжим от затертости портфелем. Мало кто знал

его в лицо в те времена, да и слава его тогдашняя была не того рода, чтобы производить впечатление на актрис, помрежей и осветителей. Но что-то было в его походке, осанке, что заставляло даже эту публику сторониться, расступаться. Это впечатление вернулось года три спустя, уже после отъезда Иосифа, совсем уж странным образом.

Я пробирался в очень густой толпе к станции метро «Технологический институт». И опять увидел, как образовывается просвет, как чье-то движение раздвигает толпу. Но на этот раз, глядя прямо перед собой, я никого не увидел. Потом я опустил взгляд и вздрогнул: запрокинув, не высокомерно, а царственно, рыжую голову, шел Иосиф, только очень маленького размера. Прошли какие-то мгновения, прежде чем картина утратила свою пугающую мистичность. Это был просто-напросто семилетний сын Иосифа, Андрей. Волочимый матерью за руку к метро, он ухитрялся сохранять царственную повадку и внушать окружающим инстинктивное почтение. Я, естественно, подумал: «Гены», – и пришедшее на ум слово вдруг решительно указало на однокоренное – «гений».

В детстве я, как, наверное, и многие, полагал три обычных похвальных эпитета иерархическими знаками, наподобие погон, высшему чину – «гениальный», следующему – «талантливый», пониже – «одаренный». Последние два еще повышают или понижают модификаторами вроде «очень», «исключительно» или «довольно». «Очень одаренный», «ода-

ренный» и «довольно одаренный» – это вроде как старший лейтенант, лейтенант и младший лейтенант. Но вот «довольно гениальный» мы не говорим. Если мы хоть сколько-нибудь уважаем то, что выходит из наших уст или из-под пера, то мы должны запретить себе пользоваться этими бессмысленными клише. Начать с того, что «талант-ливый» и «одаренный» – синонимы по лежащей в их основе метафоре: Божий дар – то же, что и талант евангельской притчи («не зарыл, не пропил»). А «гениальный» в смысле «очень-очень талантливый» пусть употребляют те, кто способен выговорить: «Старик, ты гений!» – и не сблевать. Самое умное из всего написанного на тему иерархии в искусстве следующее: «Большой поэт. Великий поэт. Высокий поэт. Большим поэтом может быть всякий большой поэт. Для большого поэта достаточно большого поэтического дара. Для великого самого большого дара мало, нужен равноценный дар личности: ума, души, воли и устремления этого целого к определенной цели, то есть устройство этого целого. Высоким же поэтом может быть и совсем небольшой поэт, носитель самого скромного дара <.. > – силой только внутренней ценности добивающийся у нас признания поэта. Здесь дара хватило как раз в край. Немножко поменьше – получился бы просто герой (то есть безмерно больше). Великий поэт высокого включает – и уравнивает. Высокий великого – нет, иначе бы мы говорили: великий» (Цветаева, «Искусство при свете совести»). Прочитав это впервые, я испытал облегчение. Все

встало на свои места: вот почему при всем восторге, который я испытывал, читая Баратынского и Тютчева, язык не поворачивался назвать их великими, если легко произносилось «великий Пушкин». Баратынский – большой русский поэт, Тютчев – высокий. При свете совести Цветаева рассуждает и о том, что такое гений. (Заметим, что в оценочную иерархию она это понятие не включает.) «Гений: высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности. Дать себя уничтожить вплоть до последнего какого-то атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет – мир». Ее определение гения звучит почти кощунственно – «дать себя уничтожить вплоть до последнего какого-то атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет – мир» – это ведь Спаситель. Речь идет о такой способности к подвигу в искусстве и жизни, которая не дается одним целеустремлением, одной волей, необходим еще дар, несравненно больший, чем у большого поэта. Нечто изначально данное, врожденное, генетический взрыв. Итогом размышлений над текстом Цветаевой стал трюизм: гении – не такие люди, как мы, и т. д. вплоть до затрепанной цитаты из Пушкина: «он и мал и мерзок – не так, как вы – иначе». Вывод был банален, но вывод, который я сделал для себя из этого вывода, сильно помог мне прояснить смутно беспокоившую меня этическую проблему, связанную с моей профессией преподавателя литера-

туры и критика. Нередко, читая даже не школярские, но академически значительные, остроумные, подкрепленные глубокими знаниями анализы гениальных сочинений, я под конец ощущал какую-то неверность тона. Фальшь ощущалась тогда, когда ученый критик *до конца* объяснял, что и как сказал гений. В тех же случаях, когда интерпретации и анализу подвергался лишь один какой-то аспект произведения или творчества, этого не происходило. Я имею в виду больших людей – Эйхенбаума, Тынянова, Бахтина, Лотмана. А уж в кандидатских диссертациях авторитетный тон аналитика, «полностью овладевшего» своим предметом, резал слух, как визг мела по доске, после того как ее вытерли мокрой грязной тряпкой. Постмодернистская самовлюбленная

болтовня по поводу «отсутствия автора» и «бесконечности прочтений» ровно противоположна тому, что пытаюсь сказать я: если, как говорит Цветаева, гений «подвержен наитию», способности целостного миро-постижения[^] несравненно большей степени, чем мы, то мы, по определению, не можем претендовать на полноту понимания его творчества. Нашими собственными наитиями, усилиями воли, методами мы можем только вчитываться в им написанное. «И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем», – как сказал один русский гений о другом русском гении. Гениальность означает только самое себя, она не означает, например, безупречность. Мы вправе, например, морщиться проявлениям дурного вкуса у Достоевского, Блока, Пастернака или Солжени-

цына, но эти люди родились гениальными.

Кстати, Пастернак и Солженицын своим обликом производили впечатление людей не обычных – не таких, как все. То же и Мандельштам, и Цветаева, не говоря уж о Хлебникове, не говоря уж о единоголосном стоне «Царственная!» по поводу Ахматовой. Напротив, во внешнем виде моих любимых (больших, высоких) поэтов Фета, Анненского, Заболоцкого самое интересное – их заурядность: они и выглядели как отставной офицер-помещик, директор гимназии, счетовод. Если гениальность в генах, то она не может не отражаться на осанке, походке, взгляде, выговоре. Она не может не заставлять людей оборачиваться и расступаться. Гений может показаться и физически больше себя самого. Подобной иллюзии было подвержено не только мое зрение. Случайный знакомец, рижский художник Артур Никитин рассказывает: «Бродский тогда был здоровый рыжий парень, конопатый, вот с такими плечами, все как надо»³. Много лет близко знавший Бродского о. Михаил Ардов вспоминает о первом впечатлении: «Иосиф – рыжеволос, высок..»⁴ Правда, впервые он увидел Бродского рядом с малорослым Найманом, но вот и А.Я. Сергеев в начале своих прекрасных записок «О Бродском» пишет: «Открываю дверь, вижу стоит ражий рыжий парень. Широкоплечий, здоровенный..»⁵ Но тогда и я,

³ Даугава. 2001. № 6. С. 101.

⁴ Ардов М. и др. Легендарная Ордынка. СПб.:ИНАПРЕСС, 1997. С. 159.

⁵ Интересно, что то же укрупненное впечатление у Сергеева было и от со-

судя по тому, как впору мне приходилась одежда Иосифа, ражий и здоровенный, однако обо мне этого никак не скажешь.

В этой связи, мне кажется, пробой гениальности служит еще и полнейшее отсутствие усилий что-то нарочно сделать со своей внешностью. Пастернак щеголял в затрапезе, а принаряжался (см. фотографии празднования Нобелевской премии), как колхозник на районный съезд. Мандельштам чувствовал себя неловко в не по чину барственной шубе. Солженицын в качестве основного костюма сконструировал себе френч, довольно нелепый – зато карманы удобно расположены. Иосиф искренне полагал, что его внешний вид – образец анонимности, «совершенный никто, человек в плаще». Брил усы и бороду, чтобы ими не выделяться из бритого большинства. В один из его предотъездных из СССР дней Александр Иванович при мне давал сыну совет: «Когда у тебя будет там – на Западе – возможность, купи себе приличный черный костюм и белую рубашку, это годится на все случаи жизни». Черного костюма, если не считать нобелевского фрака, Иосиф не носил, но в смысле одежды на все случаи жизни совету отца последовал. В июне 97-го года я очень

чинений Бродского. Он пишет: «Его „Исаак и Авраам“ – действительно тысячи строк, а 500 строк моего перевода (поэмы Э.А. Робинсона «Айзек и Арчибальд». – Л.Л.), как в оригинале, ему показались до обидного куцыми» (*Сергеев А. Omnibus*. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 433). На самом деле в «Исааке и Аврааме» всего 607 строк, то есть только на треть больше, чем в поэме Робинсона (416).

жарким днем плелся по римской виа Фунари к пьяцце Маттеи. Вдруг впереди из подъезда появилась фигура в голубой рубашке *button-down* с засученными рукавами, в хлопчатобумажных штанах цвета хаки. Рыжеватая седина вокруг лысины на большой голове. У меня сжалось сердце, я рванулся к нему и остановился. То был римлянин в обычной униформе что итальянцев, что ньюйоркцев нашего поколения. Поигрывая ключами, он шел к своему красному «фиату».

К природным особенностям Иосифа следует отнести и то, что, даже ляпнув на рубашку соусом и затерев пятно кое-как, он выглядел элегантно. На пасквильных страницах романа «Скажи: изюм» В. Аксенов описывает грязный затрапез, в котором щеголяет в Нью-Йорке «Алик Конский».

(На себя бы поглядел, ну точь-в-точь «новый русский»: весь в фирме, вечно с ридикюлем-пидараской на плече.) Женщины, знающие толк в таких вещах, всегда отмечали инстинктивную элегантность Иосифа. И уж совсем странное: я никогда не замечал, чтобы от него попахивало – потом или изо рта, хотя он и писал: «смордно дыша и треща суставами». Хотя в холостяцком быту он был неряхой – неубранная постель, разбросанное вперемешку с книгами, рукописями и письмами белье, всюду чашки с кофейными опивками, в раковине немытая посуда ожидают прихода еженедельной уборщицы (или домоводческого порыва заночевавшей подруги). Была у него присказка: «Рукопись без кофейных пятен – не рукопись».

Иосиф когда-то говорил о кошках, что у них не бывает некрасивых поз, а об англоязычных людях, что они все умны, потому что на английском языке невозможно сказать глупость. Потом ко второму замечанию он начал прибавлять: «Раньше я думал...» Я тоже считаю, что кошки скорее могут быть названы венцом творения, чем люди, и все же, когда кот вытягивает вверх почти вертикально, как палку, заднюю левую ногу с растопыренными грязными розовыми подушечками и начинает вылизывать задницу, трудно счесть его позу изящной. Была произвольная, генетически заданная красота и крупность в том, как Иосиф выглядел, в его движениях, интонациях голоса. На фотографии он, при всей своей фотогеничности, мог выглядеть иной раз некрасивым или смешным, в живом движении – никогда. Каким разным он мог быть на фотоснимке – особенно наглядно показывают две фотопробы, сделанные году в 70-м. На одесской киностудии начинали снимать фильм о подвигах катакомбных партизан во время немецкой оккупации, и режиссер пригласил Иосифа попробоваться на роль комиссара подпольщиков. Причем фамилия этого исторического лица была тоже Бродский. Ничего не вышло из всей затеи, кроме двух снимков, фотопроб, которые Иосиф привез из Одессы. На одном его сняли в черном кожаном пальто – комиссар, а другой он попросил сделать сам, надев для смеха вермахтовскую форму. Не зная, трудно разглядеть, что на обоих снимках изображен один человек. На первом – отталкивающего вида

плешивый еврей, на втором – добряк и весельчак, немецкий обозный фельдфебель из тех, кто грустя о своих, оставленных в Саксонии, угощает русских детишек шоколадом. Эту, вторую, фотографию я у него выпросил, но, отправляясь в эмиграцию, решил с собой не брать: разрешалось вывозить только фото близких родственников, и мне не хотелось объясняться с таможенниками, ни с советскими, ни с американскими, по поводу близкого родственника в гитлеровской армии.

Иные его высказывания могут показаться опрометчивыми или грубыми, но часто бывало, что потом, увязав резанувшее слух замечание с другим текстом Иосифа, я открывал в нем смысл и остроумие, незаметные мне вначале. Ничего неумного и вульгарного сказать или подумать он не мог.

Но ведь вот какое дело – сказать гениальному другу о его гениальности нельзя, поскольку само слово не приспособлено для произнесения вслух. Однажды, увы, я все же попытался. (Совестно вспоминать.) Осенью 95-го года, когда он минут сорок читал по телефону стихи, я, после «Пиранези», выговорил: «Ты – гений», – и у него на минуту потускнел голос.

Он понял то, чего я сам не успел понять, выговаривая кривым ртом ненужную фразу, – что я хочу сказать это, пока он жив.

Лица

Но была у Иосифа способность более редкая, чем даже исключительный стилистический слух. Вот как он сам писал об этом: «Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос». И еще раньше: «В движенье губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят». И в быту он беззастенчиво судил людей по физиономии: «Рожа не нравится». Но это он говорил, когда роженоситель не заслуживал специально-го обсуждения, упоминался мимоходом. Если заслуживал, то физиогномический диагноз, оставаясь лапидарным, мог быть гораздо более конкретным, чем выражение симпатии или антипатии. У нас был общий знакомый, то есть мне даже более чем знакомый, приятель, чье писательское дарование я высоко ценю. В своем жанре он прямой наследник Шкловского и Розанова, и, хотя только после нас станет ясно, достигает ли он уровня этих замечательных мастеров русского стиля, читать его доставляет мне такое же удовольствие, как читать «Опавшие листья» или «Zoo». Мне даже кажется, что его стиль чуть деликатнее, чем у Шкловского, не перенасыщен парадоксами, и чуть опрятнее, чем розановский. Бог дал этому человеку способность на удивление внятно выражать свои мысли, как правило оригинальные, иногда завиральные, но читать его всегда радостно. Примерно эти соображения я излагал Иосифу. Ведь и он в прозе ценил прежде все-

го стиль, природную способность просто и эффективно строить фразу, а главное, весь период. Речь идет о даровании, прежде всего, ритмическом. Дикция тоже важна, но без ритмико-синтаксического чутья и богатейший словарь – только неподъемный разваливающийся груз. Поэтому Иосиф любил эссеистику Орвелла. Мастерски перевел «Убивая слона». Подарил нам четыре тома журналистики Орвелла, я думаю, в расчете побудить Нину переводить оттуда. Рекомендую мне роман Кутей «Жизнь и времена Майкла К.», хвалил исключительно ритм. Однако по поводу моего приятеля он сказал неожиданно: «Человек с лицом командировочного».

Такие высказывания очаровывают вас своей точностью прежде, чем вы понимаете, а что это, собственно говоря, значит. Можно, конечно, отмахнуться: «Броская фраза и ничего больше», – но ведь ощущаешь тут что-то очень конкретное. И вот прошло несколько лет и ларчик открылся просто. Поближе пообщавшись со своим талантливым приятелем, я узнал, что при случае он склонен к загулу. Причем загуливал он как-то торопливо и жадно. Быстро беспорядочно напивался. Бессмысленно приставал к женщинам. Говорил чепуху. Вел себя точь-в-точь, как советских времен командировочный, который на три дня вырвался из-под пригляда жены и начальства и торопится насладиться краткосрочной свободой.

Вот что, однако, оставалось загадочным: во время наше-

го разговора Иосиф никак не мог знать об этом комплексе нашего тогда нового знакомого. Встречал он его до того раз или два мельком и в самом приличном виде. «С тех пор, как Вечный Судья мне дал всеведение пророка, в сердцах людей читаю я страницы злобы и порока», – так, что ли? Есть и менее возвышенное объяснение. Я читал недавно о покойном гарвардском психологе Силване Томкинсе (русского, кстати сказать, происхождения, несмотря на чисто английскую фамилию). Томкин с поразил всех способностью читать лица. Например, разглядывая полицейские фотографии, он мог подробно рассказать о характере преступника и преступления. В одном эксперименте ему показали серию фотографий мужчин племени Южного Форе, а потом племени Кукукуку (ей-богу, это настоящее название) с Соломоновых островов. Он в них долго всматривался, потом сказал о Форе: «Мягкие, миролюбивые». И о Кукукуку: «Агрессивные. Отчасти склонны к гомосексуализму». И то и другое подтверждалось антропологическими исследованиями. Томкинс был основателем отрасли психологии, исследующей выражения лица. «Лицо, как пенис...» – начал он однажды свою лекцию, имея в виду, что только очень ограниченным количеством гримас мы способны управлять, тогда как есть тысячи собственных всем людям на земле комбинаций одновременных сокращений лицевых мускулов, которые либо возникают, либо не возникают, независимо от нашей воли, но не всегда безотчетно. Иногда ловишь себя на том, что на твоём лице

промелькнуло определенное выражение. Часто оно подстроено хромосомами, ДНК. Без всякого зеркала знаешь, что по твоему лицу пробежало выражение, характерное для покойного отца или матери. По Томкинсу, мимолетные, длящиеся иногда лишь доли секунды выражения лица всегда связаны с определенными эмоциями. Их можно наблюдать и каталогизировать, чем и занимаются последователи Томкинса. Умение читать лица можно тренировать, что и делается в наши дни в некоторых полицейских управлениях и разведывательных агентствах. В какой-то степени все люди наделены способностью читать чужие лица, но всеми природными способностями мы наделены не в равной мере. Есть в этой области редкие гении, подобные Томкинсу. Есть такие, кто сознательно подавляет в себе эту способность. (Может быть, одно из условий цивилизации – *верить на слово*, выстраивать отношения с людьми только на сознательном уровне?)

Для меня несомненно, что Иосиф был особенно одарен и этой способностью. Он не сразу научился ей доверять, но в зрелом возрасте он уже ничего не мог поделать, когда различал в наших интеллигентных лицах промельки Кукукуку.

Наверное, и в своем собственном. В его стихах нет ничего беспощаднее того, что он видит в зеркале: «Босой, с набрякшим пенисом, в ночной / рубаше с желтой пуговицей, с ватой, / в ушах торчащей...» Но дело не в этом. Как совместились в нем почти идолопоклонническое отношение к языку и «я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос»?

Идиолект и стиль

Английский писатель Джон Ле Карре был озадачен парадоксом: в своей написанной по-английски прозе Бродский демонстрировал замечательное, утонченное владение словом, а вот в личном общении был – и Ле Карре, сам-то большой мастер высказываться отчетливо, говорит о симпатичном ему русском поэте – «inarticulate», то есть «неспособен ясно выражать в словах (артикулировать) свои мысли», грубовато говоря, «косноязычен». Имея за плечами значительно более долгий, чем у Ле Карре, опыт общения с Бродским, я сказал бы, что это и так и не так. Письменная и устная речь для Бродского были принципиально разными видами деятельности и определялись разными, как сказал бы формалист, установками: в литературе он стремился к предельно эффективному высказыванию, в разговоре – к предельно непосредственному самовыражению.

Стихотворение или иной литературный текст Бродский задумывал, создавал и доводил до совершенства, руководствуясь исключительно эстетическими соображениями, так как считал поэзию искусством, мастерством. Произведение должно быть безупречно красивым, то есть максимально эффективным во всех своих элементах, гармонично организованным и оригинальным. На это надо положить все силы. Забота о чем бы то ни было другом, например, о воспита-

тельном воздействии или общественном звучании, не только умаляет совершенство произведения, но и вообще излишня: прекрасное всегда учит добру и противостоит злу. «Эстетика мать этики» Бродского, как «красота спасет мир» Достоевского, не так уж парадоксальны и загадочны. И то и другое – поэтические отклики на изначальный постулат идеалистической философии, Платоново триединство Истины, Добра и Красоты. Мучительная для поэтов-романтиков драма «невыразимого», неадекватности языка природному миру чувств («Что наш язык земной пред чудною природой!», Жуковский), была чужда Бродскому. На тютчевское «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» у него был простой ответ: не рифмовать «тебя» и «себя», а найти лучшие слова, рифмы, метрико-синтаксические конструкции для выражения своих впечатлений и наблюдений, найти идеальный порядок своему высказыванию и вообще работать, не думая ни о каком «другом», кроме «гипотетического alter ego». Если сам взыскательный художник будет доволен результатом своего труда, тогда и другие «другие», рано или поздно, смогут его понять. Спонтанный, импровизационный момент имелся в стихах юного Бродского, но он изживал его жесткой самодисциплиной. Правила, которые он устанавливал для самого себя, например, пользоваться только оригинальными рифмами или изобретать новую строфику для каждого большого стихотворения, могли бы показаться слишком техническими, школярскими, если бы не при-

водили к таким впечатляющим результатам.

В разговоре, даже на бытовые темы, для него, как мне кажется, главным был сам по себе момент общения, обмен информацией отходил на второй, иногда на третий, десятый план, наконец, вообще не играл никакой роли:

«В движенье губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят...», «Я слышу не то, что ты мне говоришь, а голос...» Поэтому он стеснялся пользоваться готовыми текстами. Мне кажется, в идеале он хотел бы отказаться от всех степеней условности и полностью открыть для другого процесс формирования мысли, мысли в поисках адекватного словесного выражения. Отсюда – множество оговорок, уточнений, начатых и брошенных на полпути предложений, интонационных кавычек, неуверенных вопросительных интонаций и, время от времени, запинок, заторов, которые выражались иногда комически затяжными «э-э-э-э...». Тут уж все зависело от настроения. Если тема его увлекала, оговорки, уточнения, интонационные экивоки образовывали мощный, барочно разнообразный поток. Если ему было скучно, если разговор поддерживался по необходимости, то количество «э-э-э-э...» возрастало, вызывая в первую очередь у слушателя чувство неловкости.

Об этом мышлении вслух надо сказать, что оно понималось Иосифом как исключительно креативный процесс (как понятие «поэзия» в исходном греческом смысле – делание, творение). Есть ведь и другое понимание: не делание-творе-

ние чего-то нового, а умелое использование организованных в памяти запасов. Надо ли говорить, что в повседневной человеческой практике имеет смысл и то и другое – и интеллектуальный поиск, и применение знаний. И, конечно, в действительности Иосиф в разговоре сплошь и рядом прибегал к уже известному, ранее продуманному, узнанному и сказанному. Но ему это было явно не по душе. Отсюда его идиосинкратическое отношение к готовым речевым конструкциям, клишированным фразам и просто расхожим словечкам, без которых нормальное человеческое общение было бы исключительно трудным.

В молодости его экстремизм в этом отношении доходил до того, что с ним иногда было трудно разговаривать – он не спускал собеседнику ни одного фразеологизма. Начнешь, например: «Как у нас водится...» – «Как у *вас* водится...» – перебивает Иосиф с нехорошей улыбкой. Некоторые слова и словосочетания ему в те годы было настолько мучительно произносить, что он заменял их иностранным речением, поскольку таковое автоматически воспринималось в кавычках: польское «звянзек радзецки» вместо «советский союз», французское «гран мезон» вместо «большой дом» (как в Ленинграде называли управление КГБ). Но, конечно, не только политически окрашенные речения. Немецкое «вельтшмерц» вместо «грусть», итальянское «тутти а каза» вместо «пора по домам», латинское «экс нострис» вместо «еврей». Таковую же спасительную роль играли в его идиолек-

те некоторые устойчивые нарочито выпяченные словосочетания: «торжество справедливости» относилось к изданию его сочинений на родине, которая, в свою очередь, именовалась «любезным отечеством». Да что там говорить, если простое «я» он норовил заменить выражением «наша милость». В наибольшей степени ту же роль играли тюремное аргю и лабушский жаргон 50-х годов: феня, кнокать, лажа, башли... С годами, вдали от любезного отечества, он стал относиться к стереотипам родного языка ностальгически. Если в 1977 году, на шестом году эмиграции, он еще писал: «Там говорят „свои“ в дверях с улыбкой скверной...» – то десять лет спустя в «Представлении» создал грандиозную симфонию из звучащих в памяти голосов сограждан, «из бедных, у них же подслушанных слов»: «„Говорят, что скоро водка снова будет по рублю“. „Мам, я папу не люблю“».

Все слова языка – общее достояние, и я не хочу сказать, что каждое слово он произносил в кавычках. Какой-то был у него свой разбор. Так, например, он вполне естественно и без всяких интонационных подмигиваний, хотя и умеренно, матерился. И вообще он любил слова. Я уже писал в очерке про Юза, как они оба меня удивили, когда принялись всерьез обсуждать проект экспедиции за словами: снабдить знакомого аспиранта магнитофоном, чтобы в Москве в пивных записывал разговоры. «Потому что искусство поэзии требует слов...» Другой раз он меня удивил, когда я ему рассказывал, не без иронии, про «Словарь языкового расширения»

Солженицына, а он задумчиво сказал, что надо бы купить. Он в 94-м году вставил в стихотворение «Из Альберта Эйнштейна» переданное ему Вайлем выражение из нового молодежного сленга «ломиться на позоре». Словарь у него очень богатый: около двадцати тысяч слов (для сравнения – у Ахматовой чуть больше семи тысяч)⁶. Деловито звонил спрашивать названия растений у Нины, когда сочинял «Эклогу летнюю». Вообще любил знать названия вещей. Мы с Ниной уезжали, навестив его в Саут-Хедли весной 93-го года, и я пожаловался, что машина стала барахлить – мотор глохнет, когда останавливаюсь на красный свет.

Он сказал с видимым удовольствием: «Это карбюратор». Потом посоветовал проверить «коробку скоростей». Потом – сказать механику, чтобы проверил «трансмиссию». Мы уже отъезжали, а он кричал вдогонку: «Карданный вал... Так и скажи!»

Ан нет, сейчас, когда я это вспоминаю, я слышу, что «так и скажи!» было в легких веселых кавычках.

⁶ См.: *Patera T. A Concordance to the Poetry of Joseph Brodsky*. Lewiston, N.Y.: The Edwin Mellen Press, 2003. Vol. I–VI.

Кошки и мышь

Совсем уж своеобразное, из детских семейных привычек сохранившееся в речевых манерах, было говорить: «Такие наши кошачьи дела...» Царапать тебя ногтями по рукаву пиджака в знак симпатии. Говорить «мяу» вместо «до свиданья» или как выражение сильного чувства, когда был растерян, смущен или взволнован. В тот же приезд мы стали случайно свидетелями телефонного разговора, который очень сильно смутил и взволновал его. Вначале «мяу» звучали не слишком часто, потом, по мере получения все более обескураживающих сведений с другого конца провода, его вопросы и реплики стали все чаще звучать как «Мяу? Ну, мяу...», а под конец драматической беседы слились в отчаянное: «Мяу! Мяу! Мяу!» Так коты вопят редко, только от сильного отчаяния – на приеме у ветеринара или на крыше горящего дома.

Летом 2000 года я делал предварительную разборку архива Бродского. Осиротелый старик, кот Миссисипи прыгал на стол, укладывался на рукопись, пахнущую хозяином, и тут же крепко засыпал. Заснув, он пускал слюнку, но я не решался его согнать, поскольку догадывался, что он имеет больше прав на эти бумаги, чем я. Если будущим исследователям творчества Бродского попадетя в черновике расплывшееся пятно, знайте – это кот заплакал.

Бродский разделял распространенное заблуждение, что в кошачьем имени должен быть звук «с» (см. о фонеморазличительных способностях кошек ниже). Отсюда – «Миссисипи». Его ленинградскую кошку звали Оська. После переезда Бродского в Бруклин Миссисипи по семейным обстоятельствам был оставлен в Гринвич-Виллидж у соседки и многолетнего друга Маши Воробьевой. Маша рассказывала, что в ночь смерти Иосифа Миссисипи метался по квартире и плакал. Я в телепатию не верю, но теперь Маша тоже умерла и я рассказываю вместо нее.

Будучи большим кошколюбом, Иосиф серьезных стихов о кошках не писал (так же, как в его зрелом творчестве нет стихов, посвященных любимому городу). Благодаря конкордансу Татьяны Патеры мы знаем, что коты, кошки и котофеи упоминаются в его стихах почти вдвое реже, чем псы и собаки (26:47), хотя к собакам он был довольно равнодушен. Зато он сильно отождествлялся с кошками. Умело, почти автоматически, рисовал толстых котов вместе с подписью, надписывая книжки. Писал:

Я пробудился весь в поту:
мне голос был – «Не всё коту, —
сказал он, – масленица. Будет, —
он заявил, – Великий Пост.
Ужо тебе прищелят хвост».
Такое каждого разбудит.

Это шестистишие – почти полностью коллаж: две поговорки и цитата из Ахматовой («мне голос был»), но в нем очень личное ощущение себя котом. Так же в блаженный момент, запечатленный в «Набережной неисцелимых», он ощутил себя котом, съевшим рыбку и мурлыкающим на солнышке. Но в стихотворении, выстроенном как формула собственной судьбы, «Письмо в оазис», он делает сытым котом своего оппонента, а себя мышью в пустыне, «подспудным грызуном словарного запаса».

Мышь – один из самых заметных постоянных образов в стихах Бродского. Помню, как мой отец, прочитав «Большую элегию Джону Донну», с удовольствием сказал вслух: «Мышь идет с повинной». Мне сдается, что мышь-преступница пришла из лубочной картинки, но это из области домыслов, а папе явно нравилось просто неожиданно точное описание ночной пробежки мыши, торопливой, как будто чувствующей, что в чем-то виновата. О мышах у Бродского многие писали. Полухина, Стрижевская – о мышах Аполлона (по давней статье Волошина). Ранчин припомнил и «жизни мышью беготню», и «зубами мыши точат / Жизни тоненькое дно» Мандельштама, и «мы вместе / Грызли, как мыши, / Непрозрачное время» Хлебникова, и «из памяти изгрызли годы» Ходасевича. Иосиф обычно умело уклонялся от комментирования собственных стихов, да я и не приста-вал особенно, но о мышах у нас однажды был разговор в Энн-Арборе. Он сказал, что дело в фонетическом сходстве

слов «мышь» и «мысль», а также «грядущее» и «грызущее». Я тогда как раз много читал про «Слово о полку Игореве» и поспешил сообщить, что «мышь», которая «растекается по древу», на самом деле не мышь и не мысль, а белка, но это Иосиф пропустил мимо ушей. Дело было все-таки в фонетике. Эти слова, «грызть» и «мышь», ему доставляло удовольствие произносить. Один из последних анекдотов, которым он поспешил поделиться со мной по телефону, был про грузин, несущих убитого медведя. «Гризли?» – «Нэт, застрэлили». Анекдот ему нравился, потому что поворачивался на приятном слове. Но с особым наслаждением, усиленно артикулируя каждый из трех звуков, он говорил: «Мышь». И употреблял его неожиданно – в качестве эпитета для характеристики милого ему типа интеллектуальной женщины, чаще всего некрасивой с обывательской точки зрения. «Такая... такая... – и заканчивал восторженно, – МЫШЬ!» Это было особенно странно ввиду его двуязычия. Ведь в разговорном английском «mousy» («мышеподобная») – презрительное словечко, обозначающее невзрачность. Иногда «мышь» с одобрением говорилось и о мужчинах. И имя своего дружка Барышникова он переделывал в «Мыша», «Мыш». Все-таки здесь в первую очередь дело не в параномазии, не в интертекстах и не в мифологическом субстрате, а в каких-то чувственных резонансах – «праздник носоглотки».

Сон на воскресенье 20.1.02

Сижу в большой аудитории на лекции. Прийти на лекцию было надо, потому что молодой лектор – знакомый знакомых. Он говорит об экзистенциализме, и довольно интересно. Думаю: надо слушать повнимательнее, записывать, может пригодиться, но не слушаю, потому что начинаю сочинять стихотворение. Не на чем писать. В руках блокнот, но все страницы исписаны. Подходит Иосиф и озабоченно спрашивает: что, писать не на чем? Я говорю: ничего, сейчас пойду в писчебумажный магазин, куплю новую тетрадь, тебе тоже купить? Опять сосредоточиваюсь на стихотворении. Оно – про облако, которое ползет издалека – напоминая старика – потом рассеивается клочками – куда ни кинь – нет, это для рифмы, нужно по-другому, чтобы сохранился такой удачный конец – остается только солнце и синь. Лучше: сияющая синь. Нет, все не так, слишком простенько. Если присмотреться, облако ползет, как танк. Бесшумный танк. Помню – нет, слышу – взлязгивает железяка – взвизгивает собака. Ага, теперь голова старика, потом уж клочки и сияющая синь. Радостное ощущение удачи.

В этом сне я на самом деле пытался сочинять стихи Иосифа – «Облака».

Резкость

Вслед за этим вспомнил – из разговора с Иосифом: позвонил Найман, сказал: написал стихотворение, отклик на ваши «Облака», хотите, прочту?

Я сказал: не надо. Иногда он бывал очень резок, не столько от грубости, сколько от отчаяния. Как-то мне принялась звонить одна несчастная психопатка, безнадежно влюбленная в Иосифа. Она будила меня в три часа ночи и начинала нудно советоваться – покончить ей с собой прямо сейчас или обождать. Ненавидя ее, но боясь, что дура в самом деле наложит на себя руки, я до четырех, до полпятого дремал с трубкой у уха, время от времени бормоча что-то утешительное. На третью или четвертую ночь я в конце концов спросил: «А почему, собственно, вы звоните мне, а не Иосифу?» Она говорит: «Я ему позвонила, спросила: „Как вы считаете, стоит ли мне жить или лучше умереть?“, а он так грубо крикнул: „Живите!“ – и повесил трубку».

Смешной сон на 17.XII.1997

Иосиф лежит на кровати, я сижу рядом на стуле (как было, когда я навещал его в больнице). Он говорит со смешанной грустью и досадой (это та интонация, с которой в нашем последнем разговоре он жаловался

на рецензию Кутей): «А все-таки жаль, я еще многое хотел сказать». Я, стараясь переменить разговор и в то же время утешительно намекнуть на некоторые преимущества загробного существования, спрашиваю: «А правда, что есть музыка сфер?» Он отвечает решительно: «Нет».

Потомки и современники

Когда готовился к переизданию второй том «Сочинений Иосифа Бродского», Иосиф внес кое-какие поправки, где-то вдруг припомнил пропущенные строки, добавил посвящения, но главное, много стихов повыкидывал, к большому огорчению редакторов. В печать второй том отправлялся уже после его смерти, и убрали из него только семь стихотворений, остальное редакторы отстояли как «очень важное и многократно печатавшееся».

Я, в общем-то, на стороне редакторов, хотя и не разделяю нежного отношения старых друзей к раннему, вулканически обильному творчеству Бродского. Там сравнительно мало хороших стихотворений, много замечательных пассажей, строк, слов в потоке подражательного, не всегда внятного, не всегда грамотного текста. В основном оно филологически ценно – как литературная биография: мы видим, как поэт, ведомый не столько выбранными им для себя учителями, сколько гениальным инстинктом, создавал самого себя. После 1964 года все написанное Иосифом безупречно.

Здесь мы сталкиваемся с проблемой, так драматически сформулированной Баратынским: друг – в поколении, читатель – в потомстве. Судьба не только Баратынского, но и самого Пушкина и всех получивших раннее признание, но не успевших умереть совсем молодыми русских поэтов на-

шла отражение в этой формуле. Новый поэт приходит со своим новым мироощущением, новым голосом, который звучит дико и невнятно для большинства в старшем поколении, но находит горячий отклик среди сверстников поэта. Они наизусть заучивают «Руслана и Людмилу», «Эдду», «Ни страны, ни погоста...». Они следуют за своим поэтом, но никогда до конца. Поэт становится старше и пишет все лучше, оставаясь самим собой. Читатель становится старше вместе с поэтом, но его энтузиазм остывает с возрастом. Он по-прежнему узнает знакомое необщее выражение в стихах своего поэта, но ему, читателю, оно уже слишком знакомо, ему достаточно стихов, что он смолоду полюбил и запомнил. Он их любит, потому что любит свою ушедшую молодость, с которой они сплавлены. Что ж до новых вещей, он с грустью говорит о поэте: «Повторяется». А то и со злорадством: «Исписался». Другое дело – потомки. Поэтов прошлого мы читаем не в хронологической последовательности, как их современники, а начиная с самых зрелых вещей: сначала «Медный всадник», а потом уж, может быть, когда-нибудь лицейские стихотворения. Мы несравненно выше ценим стихи «Сумерек» Баратынского и «Вечерних огней» Фета, чем их утренние вещи. Это, с разной степенью драматизма, относится ко всем нашим поэтам, за исключением разве что Тютчева, которому удалось, невольно, обмануть обычную поэтическую судьбу⁷.

⁷ Другое исключение – Маяковский, который «наступил на горло собственной

песне»; это следует понимать если не буквально, то всерьез.

Цветаева

В первой половине мая 1982 года мы несколько раз говорили по телефону, и каждый раз Иосиф возвращался к Цветаевой. Он получил из «Рус-сики» (нью-йоркский книжный магазин-издательство) второй том цветаевского пятитомного собрания «Стихотворения и поэмы». Для первого тома его просили написать предисловие, но вместо предисловия он написал разбор «Новогоднего», стихотворения Цветаевой на смерть Рильке, первую из его безудержно разрастающихся *explications des textes*⁸. Вторым том его огорчил. Он говорил об этой книге так, словно бы речь шла не о том, как изданы старые и давно знакомые тексты, а как будто получил новую книгу от Цветаевой, открыл, начал читать и досадовать: «Много шлама». И в следующем разговоре: «Второй том – полная катастрофа. Цветаева знала сама, что делала. Печатала только лучшие стихи. А это действительно второй сорт, третий сорт. [Писала много], но, когда надо было уже печатать в книге, она всегда перерабатывала к лучшему. В отличие от Бориса Леонидовича». (Во втором томе – «Версты» (обе книги), стихи из книги «Психея», «Стихи к Блоку», «Лебединый стан», «Ремесло» и большой раздел «Сти-

⁸ Ранее им был написан столь же подробный разбор стихотворения Одена «1 сентября 1939 года», а позднее – стихотворений «Орфей. Эвридика. Гермес» Рильке и «Семейное кладбище» Фроста.

хи, не вошедшие в сборники»).) «Шестнадцатый-семнадцатый год – один из самых плодотворных. Пишет замечательно, и вдруг, рядом, полная катастрофа.

Ее подводило то, что писала циклами... „Лебединый стан“ – наиболее яркий пример. Разбавляет. Совершенно потрясающее „Я – страница твоему перу. а рядом бог знает что. Она сама печатала только эти восемь строк».

При этом надо помнить, что Цветаеву Иосиф безоговорочно считал лучшим поэтом XX века. Не лучшим русским поэтом, лучше даже Ахматовой и Мандельштама, а лучшим в мире. Почему он так думает, он сполна объяснил в соответствующем разговоре с Волковым. Мне кажется, что, просматривая для переиздания собственный второй том, он вспоминал о том втором томе, Цветаевой.

Америка

Осенью 80-го года мне позвонил критик Джеймс Атлас и что-то такое поспрашивал об Иосифе для статьи в «Нью-Йорк Таймс Мэгэзин». Обычные дела – как познакомились? каким он был в молодости? его родители? можно ли считать его евреем? Мои незамысловатые ответы он потом добросовестно процитировал. Не знаю, чем уж я произвел такое не-американское впечатление на Джеймса Атласа, но потом, разговаривая с Иосифом, он спросил, а не лучше бы было Лосеву остаться в Советском Союзе. «Так даже шутить не следует», – сказал Иосиф. (Это я прочитал в статье Атласа.)

Отношение Иосифа к перемещению в Америку и вообще за границу, как и все у него, своеобразно. У интервьюеров это был, естественно, стандартный вопрос: как вам в Америке? И его ответ стал стандартным: Америка – это только продолжение пространства. Я бы никогда не мог так сказать. Для меня действительно существует граница. По одну сторону ее родное пространство, а по другую совсем другое. Одной из самых привлекательных сторон эмиграции для меня была именно новизна, незнакомость, странность, «иностранность» окружающего пространства. Мне всегда хотелось не упустить ни капли этой новизны, и даже теперь, прожив в Америке тридцать лет, я изредка испытываю радостное удивление – неужели это действительно я, своими глаза-

ми вижу эту чужую землю, вдыхаю незнакомые запахи, разговариваю с местными людьми на их языке? Уже в самом начале американской жизни я боялся, как бы не привыкнуть слишком скоро, не утратить этого приятно возбуждающего интереса к незнакомому миру. Однажды поздней осенью 76-го или зимой 77-го, то есть прожив в Штатах уже с полгода, я с необыкновенной остротой и восторгом испытал это чувство приключения. Кажется, это был первый раз, когда я должен был лететь куда-то по делам. Проффера пригласили выступить на конференции Американского союза гражданских свобод в Айова-Сити, а он сосватал на это дело меня. Перед рассветом я сидел на остановке, ждал автобуса в аэропорт. Было холодно и еще темно. Длинные американские машины еще не слишком густым потоком неслись по шоссе. А в небе были еще видны звезды и много быстро движущихся огоньков – самолеты. Ярко и неподвижно светились большие неоновые вывески магазинов.

Этот мир яркого ночного света и почти бесшумного быстрого движения показался мне захватывающе чужим.

Я захватил с собой несколько писем, на которые надо было ответить.

И вот при свете уличного фонаря я стал писать Довлатову. Он тогда прицеливался к отъезду и просил рассказывать ему о жизни в Америке. И я постарался описать, подробнее, чем здесь, что я вижу и чувствую в этот предутренний час на окраине Энн-Арбора. Недели через четыре он при-

слал смешное письмо, сварливо выговаривал мне за ненужные сентименты. Писал, что его интересует не это, а «сколько стоят в Америке спортивные сумки из кожаменителя».

Если бы я умел описать странность нового для меня американского мира так наглядно и пристально, как это сделал Иосиф в стихотворениях «В озерном краю», «Осенний вечер в скромном городке...», в «Колыбельной Трескового мыса», небось не получил бы выговора от Довлатова. Но мое литературное дарование скромнее, а психика устойчивее. Иосиф в стрессовых ситуациях говорил, что у него «психика садится». Краснел, жадно выслушивал даже самые банальные утешения и советы, хватал рукой лоб и, более странным жестом, сжимал рукой нижнюю челюсть и норовил подвигать из стороны в сторону. Но психом он не стал. Для этого у него был слишком мощный ум. Он сам себя научил справляться со стрессами. Это была интеллектуальная, рациональная, аналитическая операция. Он смотрел на себя со стороны, как Горбунов на Горчакова или Туллий на Публия. Оценивал ситуацию. И принимал решение – что надо делать, чтобы не сорваться в истерику или депрессию. На суде в Ленинграде применил «дзен-буддистский» прием – снять проблему, дав ей имя и обесмыслив частым повторением этого имени («Бродскийбродскийброд-скийбродский...»). При переезде в Америку он приказал себе думать: это только продолжение пространства.

Вот еще какая тут между нами разница. Меня в опре-

деленный момент жизни непреодолимо потянуло *туда*, а Иосифу если когда и хотелось бежать, то *оттуда*. Нет, конечно, и мне невыносимо обрыдло жить там, где я жил, той жизнью, которой я жил. Все и началось с того, что я стал физически ощущать омертвелость нашего красивого города. Но вслед за этим навалилось то, что один старый литературовед называл «пушкинской тоской по загранице». *Wohin, wohin, wo die Zitronen bliihen!* Не то чтобы обязательно Zitronen, но *wohin*. А Иосифа ведь в 72-м году выставили. В ту пору он был бы рад съездить за границу, но только съездить, не уезжать насовсем. Были у него, конечно, и моменты, когда ему хотелось свалить. Я имею в виду не инфантильный план угона самолета из Самарканда. Волков у него спросил, бывало ли у него острое желание убежать из России. Он сказал: «Да, когда в 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию. Мне тогда, помню, хотелось бежать куда глаза глядят. Прежде всего от стыда.

От того, что я принадлежу к державе, которая такие дела творит. Потому что худо-бедно, но часть ответственности всегда падает на гражданина этой державы»⁹. Я удивляюсь, может быть, в глубине души и завидую таким чувствам, но я их никогда не испытывал. Слово «держава» мне само по себе неприятно: кого держать? за что? Это слово ассоциируется у меня с Держимордой, с «держать и не пущать», с «держи

⁹ Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 2000. С. 182.

его!» и полицейской трелью. Я подозреваю в заемных чувствах тех, кто подражает алкогольному басу актера Луспекаева: «За державу обидно». Актер был хороший, да вот держава сомнительна. Мне по душе не пудовый патриотизм, а легкая речь Карамзина: «Россия, торжествуй, сказал я, без меня!»

Мои стихи

Когда я жаловался ему на депрессию, он всегда говорил: «Это, наверное, потому, что стихи не пишутся...» Из этого можно было заключить, что он считает меня поэтом. Помимо заметки в «Эхе», явившейся для меня полным сюрпризом, я по пальцам могу перечесть высказывания Иосифа о моих стихах, да что по пальцам – едва ли не по ушам.

Один раз, вернувшись из Парижа, он сказал не от себя, но с удовольствием: «Они там кипятком писают от твоих стихов!» Имелись в виду Максимов и Горбаневская («Континент»), Ну, это я и так знал. Если бы не Марамзин да они, я, может быть, и не начал никогда печататься.

В начале 80-х я как-то приехал к Иосифу на Мортон-стрит, и он попросил: «Почитай». Иосиф валялся на диване, я сидел в кресле и читал. Я не люблю читать вслух свои стихи, хотя, читая Иосифу, испытывал меньше неловкости, чем обычно. Я начал с «Земную жизнь пройдя до середины...». При звуке терцин Иосифу сразу стало очень нравиться. Он даже как-то выразил свой восторг, который, однако, потускнел, когда я перешел от первой части ко второй, и совсем испарился к третьей. Потом я прочитал стихотворение, которое мне самому тогда нравилось, казалось картинкой, восстанавливающей мимолетный момент петербургской жизни в начале XIX века: какой-то поэт, может быть,

член «Беседы», может быть, и морской офицер при этом, сидит днем у себя в кабинете, пытается читать то ли Джефферсона, то ли Франклина, думает о приложимости или неприложимости идей демократии к России, мысленно перекладывает английский текст русскими словами, но сбивается на стихи, а за окном не слишком теплый летний петербургский денек. Название – вычитанный где-то старинный перевод определения демократии. Он меня удивил, потому что оказался на редкость точным, что необычно для нашего плохо приспособленного к дефинициям, уклончивого языка: «Народовластие есть согласование противоборствующих корыстей»¹⁰... Теперь я к этому своему стихотворению остыл – я там позволил себе слишком субъективные, только автору понятные пассажи, что всегда плохо. Вот и Иосиф сухо сказал: «Этого я не понимаю». А про «ПБГ», который кончается: «А за столиком, рядом с эсером, Мандельштам волхвовал над эклером. А эсер смотрел деловито, как босая танцовка скакала, и витал запашок динамита над прелестной чашкой какао», – сказал: «Слишком много иностранных слов». Но это он зря, это недурное стихотворение.

Книжки свои я ему посылал, а просто новые стихи только изредка, если он просил. В последний раз в 95-м году довольно большую подборку, по поводу которой он позволил и сказал: «Замечательно, особенно маленькие стихотворения», – чем тут же вызвал у меня мнительное подозре-

¹⁰ Теперь это переводят как «систему сдержек и противовесов».

ние, что он поленился прочитать те, что подлиннее. Сказал, что особенно ему понравилось стихотворение про умирающего в Чечне русского солдата («Только названия не понимаю...» – с названием я и вправду поначалу перемудрил, я его тут же похерил). Занятно, что как раз это стихотворение было ошельмовано в московской газете «Культура». Даже карикатура нарисована – автор (условный – как я выгляжу, карикатурист не знал) в смиренной рубашке; смысл в том, что стишок – полный бред. В тексте этого стихотворения продернута пунктиром крылатая фраза Горация «Сладко и почетно умереть за отчизну...». Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что цитата из Горация настроила Иосифа в пользу этого стихотворения, как некогда терцины навострили его благожелательное внимание к другому.

Не раз, конечно, я посылал ему открытки по разным поводам с соответствующими комическими стишками, дарил книги с такого же рода надписями, но в памяти только один такой стишок, который его развеселил. Нью-йоркское издательство при букинистическом магазине «Руссика» задумало издать трехтомник Бродского. Иосиф попросил меня быть редактором – составителем. (Делалось это с неэмигрантским размахом – Иосифу предлагался гонорар двадцать тысяч долларов и проценты от продажи, мне за составление и предисловие – пять; в конце концов все сорвалось, хотя мои пять тысяч мне заплатили.) На каком-то этапе я приехал к Иосифу, чтобы вместе пройтись по составу сбор-

ника. Полтора дня мы препирались – он норовил побольше выбросить, а я оставить, – перебивая наш труд легкой выпивкой и приятными походами в итальянское кафе и китайский ресторан.

В какой-то момент Иосиф стал уговаривать меня взять половину его гардероба. Я уже говорил об этом: «Уезжаю в пяти пиджаках...» Вот эти вирши он почему-то запомнил и цитировал. А ведь были и получше. Например, однажды по дороге в Нью-Йорк я за рулем сочинял частушки:

Чтой-то сердце ёк да ёк,
еду к Ёсифу в Нью-Ёрк.
И наслушаюсь поэм,
и китайского поем.

По дороге я заезжал к Алешковскому:

Побывал в гостях у Юза —
между ног висит обуза.
Вот обуза так обуза —
эко вывесилось пузо!

Иосиф написал предисловие к сборнику стихов Кублановского. Вообще-то стихи Кублановского, когда они попали в «Ардис» в 77-м году, ему понравились, а мне и еще больше. Но предисловие, как мне показалось, он вымучил, не знал, чего бы еще написать, и придумал вот такой выверт: «.. судь-

ба не без умысла поместила этого поэта между Клюевым и Кюхельбекером. Стихотворениям, собранным в эту книгу, суждена жизнь не менее долгая, чем соседям их автора по алфавиту». Кюхельбекера? Я отправил ему стишок:

Я прочитал твои наброски
и думаю, что ты неправ.
Ведь был еще граф Комаровский,
Кузьминский (тоже явный граф).

Я знаю, ты не из зоилов,
но ведь гуляли по земле
пусть не Коржавин – так Корнилов,
пускай не Кушнер – так Кулле.

А если то тебе не мило,
что рождено в СССР,
почто ты исключил Ермила
Кострова, Княжнина, К. Р.?

Допустим, это для ученых
и разных прочих хитрецов,
но где, еёна мать, Кручёных?
слепой Козлов? простой Кольцов?

Где гений, что чугунным задом
наш Летний украшает сад?
И, коли уж помянут зад,
что ж Кузмина не вижу рядом?

Ужель от Клюева до Кюхли
все прочие как бы протухли
и ты от них воротишь нос?
Ответь, Иосиф, на вопрос?

Он ответил открыткой – несправедливо, но кратко:

Из названных тобой на
К все, кроме Кузмина, кака.

А вот самое раннее и, кажется, последнее, что я могу припомнить из отношения Иосифа к моему художественному творчеству. В 63-м, кажется, году я перевел несколько стихотворений Фроста и отнес в «Неву». Отделом поэзии заведовал обоженный танкист Сергей Орлов, поэт совсем неталантливый, которого в отрочестве восхваляли за то, что он сравнил тыкву со свиньей, а в зрелом возрасте за ходульную строчку «Его зарыли в шар земной...». Но человек Орлов был неплохой и, как ни странно, увлекавшийся русскими переводами Фроста, и мой он взял и напечатал. Кстати сказать, когда я принес ему свои изделия, Орлов симпровизировал, наверное, лучшее в своей жизни двустипхише. Сообщив, что уезжает в командировку по союз-писательским делам, задумчиво добавил: «Еду в Улан-Удэ чесать мудэ». Я немало перепер в свое время. Детские стишки с польского получались ничего себе. Взрослые с разных советских и на-

родно-демократических языков по подстрочникам были чистопсовой халтурой. Для души я пытался переводить Йейтса, Одена и вот Фроста, но переводы – «not my cup of tea». И все же Иосифу они нравились. Он восхищался тем, как я сделал первые две строки «Коровы в пору яблок»: «Корова ценит изгородь совсем наоборот – количеством распахнутых калиток и ворот».

А главное, само по себе то, что я пытался переводить Одена и Фроста, что-то катализировало в наших отношениях – начало превращать приятельство в дружбу.

Я старше Иосифа?

Меня не раз спрашивали: «Как вы познакомились с Бродским?» На этот простой вопрос я затрудняюсь ответить. Я не помню момента. Иосиф в моей памяти навелся на резкость из расплывчатой толпы полужнакомых. Помню, что впервые стал слышать о нем от неразлучных тогда Виноградова, Уфлянда, Еремина. Они насмешливо и беззлобно упоминали «В.Р.» – «великий русский (поэт)». К ним немало юношей заходило в виноградовское логово на 9-й линии Васильевского острова между Средним и Малым проспектами. Настоящий талант Виноградов признавал только за совсем мальчиком, лет пятнадцати, Олегом Григорьевым.

А к Осе отношение было дружелюбно снисходительное. Не то чтобы он действительно кричал своим картавым ртом: «Я великий русский поэт», – но, видимо, его патетическая манера чтения и поведения, космические претензии еще довольно корявых юношеских стихов старшим казались немножко комичными. Но, повторяю, это представление, возникшее у меня в ту пору на краю сознания. Меня особенно юная богема, шаставшая на 9-ю линию, в ту пору не интересовала. Это был 61-й год, когда я по возвращении с Сахалина был сильно занят поисками пропитания.

Почти наверняка я его встречал, даже еще в университетские годы на каких-то поэтических чтениях, в каких-то ком-

паниях, но не запомнил. Герасимов, с его феноменальной памятью, помнит, что познакомил меня и Нину с Иосифом на Невском возле кинотеатра «Титан» вскоре после нашего возвращения с Сахалина, то есть зимой 1961 года. Не помню, и даже Нина не помнит. Вместо первого знакомства помню три эпизода. Весна или холодный летний день. Почему-то на Дворцовой набережной мы встречаемся с Наташей Шарымовой. Она убеждает меня почитать стихи Бродского, достает из торбы машинописные листки. Мне становится скучно от одного вида чрезмерно длинных, во всю ширину страницы, бледных (вторая или третья копия) машинописных строчек. Я как-то отговариваюсь от чтения. Потом осенью у нас на Можайской собирается компания читать стихи. Это у нас нечасто, но бывало. Может быть, вообще только однажды. Кто был? Видимо, Виноградов, Уфлянд, Еремин. Лида Гладкая, с которой мы продолжали дружить по инерции после Сахалина. Москвичи Стас Красовицкий и Валентин Хромов, которые меня очень интересовали. Собственно говоря, по поводу их приезда и собрались. Были и другие, но не помню кто. Рейн? Его миньоны? Сапгир? Или Сапгир приезжал в другой раз? Почему-то расселись не в нашей «большой» комнате, а вытащили стулья в коммунальную прихожую. Худосочный Красовицкий, покраснев, пронзительным командирским голосом читает уже знакомые нам страшноватые талантливые стихи: «О рыцарь! Брунгильда жива!» Соседи Рабиновичи время от времени пробираются с застенчивыми

улыбками на цыпочках в уборную. Иосиф, с которым мы, стало быть, уже знакомы, читает тоже довольно готическую балладу «Холмы». Я совершенно обалдел от неожиданного счастья. Я слушал и понимал, что слушаю стихи, о которых всегда, сам того не зная, мечтал, чтобы они были написаны. Потом, несколько лет спустя, я прочитал, изумляясь верности сравнения, у Кушнера: «И стало вдруг пусто и звонко, как будто нам отперли зал». Как будто дверь в прежде неведомое, просторное, огромное пространство вдруг открылась. О существовании этих просторов в русской поэзии, в русском языке, в русском сознании мы и не догадывались, обживая уже до нас обжитые углы. И сразу все то, чего я так не любил в стихах, стало неважно. Многословие, случайные, неточные слова, бедные рифмы – неважно, второстепенно. Открылась небывалая перспектива, и дух захватывало от того, что там еще может произойти.

Когда Иосиф закончил, Гладкая честно сказала: «Ничего не поняла».

Я ведь тоже мало чего *понял*. Кто кого убил? Почему? Что за городок описан? По географии вроде советский, но какой-то несоветский. Дольник, которым написана баллада, напоминал переводы с испанского, и какие-то смутные ассоциации с «Кровавой свадьбой» Лорки возникали сразу.

Вайль пишет, что спросил у Иосифа: «Относились ли вы к кому-нибудь как к старшему?» – и Иосиф сказал, что ко

мне. Я этого не понимаю. Помню, удивился, когда в 76-м году Иосиф объяснял мне нечто про американскую жизнь и, как бы извиняясь, вставил: «Ну, на этот-то опыт я старше тебя». Он младше меня на три года, но жил так интенсивно, что я с самого начала не воспринимал его как младшего, и мне казалось, что он на любой опыт старше меня.

Я изредка узнаю у него свои высказывания, но это ничего не говорит о старшинстве и авторитете. (Я имею в виду не редакторские замечания, которые он иногда учитывал, а то, что, кажется, осталось у него в подпочве памяти из наших просто разговоров и потом проросло.)

В очень содержательном интервью 81-го года (Анни Эппельбуэн) он в рассуждении о Пушкине повторяет мою незамысловатую метафору: Пушкин – линза, в которую вошло прошлое и вышло будущее. Я тогда начинал преподавать русскую литературу XIX века. Обзорный курс начинался с Пушкина, и я беспокоился, что у студентов так и останется на всю жизнь представление о том, что наша литература началась с Пушкина.

Я им сказал, что до Пушкина было примерно столько же, сколько после Пушкина, и про линзу – что Пушкин был не лучше своих предшественников и последователей, а оказался той ослепительной точкой, в которой сфокусировалось прошлое и будущее. Иосиф, конечно, сказал это лаконичнее, эффектнее.

В комментариях к антологии Алана Майерса Иосиф пи-

шет о Фете, что его стихи напоминают классическую японскую лирику. Это, наверное, тоже из моих рассуждений в классе, которые я ему пересказывал. Я предлагал студентам такой эксперимент: прочитайте в английском переводе строфу стихотворения Фета или Алексея Толстого как самостоятельный текст и спрашивал, что это им напоминает:

Not a patch of blue in the sky.
The steppe is all flat, all white,
Only a raven waves its wings heavily to meet the storm¹¹.

Или:

The last of snow is already melting in the field.
The earth is steaming warmly.
The blue iris blossoms and the cranes call each other¹².

Студенты узнавали: японские хайку.

Или вот, вскоре по приезде в Энн-Арбор я пересказывал Иосифу рассказ моего литовского друга Казиса Сая, как гонимый госбезопасностью Томас Венцлова (я с Томасом тогда еще не был знаком) вызвал его однажды на прогулку для разговора. Дома разговаривать было опасно из-за прослуш-

¹¹ «На небе ни клочка лазури, / В степи все плоско, все бело, / И только ворон против бури / Крылами машет тяжело».

¹² «Вот уж снег последний в поле тает, / Теплый пар восходит от земли, / И кувшинчик синий расцветает, / И зовут друг друга журавли».

ки. Они ходили по Вильнюсу, и Томас советовался – как поступить. Перед этим прошел дождь, и по тротуару ползало множество дождевых червей. И Казис, хотя и глубоко взволнованный тем, что говорил Томас, следил, как бы не наступить на живого червя, а Томас, увлеченный своим горьким монологом, ничего не замечал и наступал. Через несколько лет в грандиозном обращенном к Венцлова «Литовском ноктюрне» я прочел: «Отменив рупора, / миру здесь о себе возвещают, на муравья / наступив ненароком...»

При всем моем внимательном чтении-перечитывании Бродского я наткнулся не более чем на десяток-полтора следов моих – может быть – рассказов, замечаний. В некоторых случаях я почти уверен, в иных не очень. Однако этот ограниченный опыт можно смело экстраполировать – вот так из многоголосого гула случайной болтовни со множеством собеседников образовывается поэтическая мысль. Мне не похвастаться хочется: я, мол, Бродскому мысль подсказал, – а интересно видеть вроде как бы экспериментальное подтверждение ахматовского замечания о роли компоста в поэзии. И уж точно, что в каждом случае выросло нечто качественно новое, отчужденное от первоисточника, не при-своенное, а о-своенное Бродским.

А в нескольких случаях я наткнулся и на прямое обращение к себе.

Как замороженные слова у Рабле, реплики Иосифа оттаивали и требовали ответа. Так я прочел пропущенное в

свое время интервью, которое он дал Джону Глэду. Глэд Иосифу процитировал из моей статьи «Английский Бродский»: «Писателем можно быть только на одном родном языке, что предопределено просто-напросто географией. Даже с малолетства владея двумя или более языками, всегда лишь один мир твой, лишь одним культурно-лингвистическим комплексом ты можешь сознательно управлять, а все остальные – посторонние, как их ни изучай, жизни не хватит, хлопот и ляпсусов не оберешься». Это писалось в 1979 году, но я и сейчас так думаю, хотя уже тогда надо было сделать исключения для прозы Конрада и Набокова, а лет через пять и для прозы Иосифа. Кто-то из моих американских знакомых вернулся из Ленинграда, рассказывал, что Александр Иванович и Мария Моисеевна сильно рассердились на меня за эти слова. И Иосифа они задели. Он ответил Глэду:

«Это утверждение вздорное...» Тут же спохватился (ведь он никогда не говорил со мной грубо, даже когда не соглашался): «.. то есть не вздорное, а чрезвычайно, как бы сказать, епархиальное, я бы сказал, местечковое». И тут же приводит аргументы мимо темы – напоминает о двуязычии Пушкина, Тургенева. Мастерами французской литературы ни тот ни другой не были.

А иногда слово отказывается отгаивать. Разбирая архив, я увидел – на одном из черновиков «Эклоги летней» сбоку крупно приписано: «Лёше: о Маяковском». О чем это ты?

Возвращаясь к двуязычию, с Иосифом совершенно осо-

бый случай. Его разговорный английский был свободен и богат, но далеко не безгрешен грамматически и фонетически. Кстати, и о тезке Иосифа, Конраде, чей стиль многие считают образцовым в английской прозе, вспоминали, что говорил он по-английски с таким сильным польским акцентом, что его порой было невозможно понять. Вот и Джон Ле Карре, сам прекрасный стилист, дивился, вспоминая об Иосифе: как же так – ведь в разговоре он косноязычен («inarticulate»), а ведь пишет в своих эссе прекрасно?

Как у всех у нас, апатридов, английский наезжал у Иосифа на русский. Это не обязательно плохо. Русский литературный язык всегда прирастал кальками иноязычных слов и выражений. В качестве приветствия Иосиф говорил: «Что происходит?» («What's going on?»). И наоборот, удивлял англоязычных знакомых, калькируя русские выражения, например, прощался по-английски: «Kisses, kisses...» («Целую, целую...»). Но иногда получается неуклюже. Например, «епархиальное» в разговоре с Глэдом – калька с английского «parochial». По-русски в этом смысле следовало сказать: «провинциальное».

В интервью Эппельбуэн Иосиф рассказывает случай: я приехал из Москвы, мой приятель спрашивает: «Новые стихи привез?» Я начал читать. Он говорит: «Нет, нет, не свои, а...» – и называет московского поэта. Это анекдот из репертуара Наймана. В исходном варианте приехал из Москвы он, Найман, «приятель» – я, и сказал я будто бы Найма-

ну: «Нет, нет, не свои, а Пастернака» (то есть дело было еще при жизни Пастернака, в конце 50-х). Сейчас мне не верится, что я мог так нахамить, хотя кто его знает. Я понимаю, почему Иосиф подставил себя на место Наймана в этом рассказе. Ему надо было показать собеседнице, как требовательны к нему были его старшие товарищи, и он воспользовался уже существующим анекдотом. Между Иосифом и мной такого разговора быть не могло. В это время мы еще не были знакомы. Но забавно, что в его юном восприятии я представляюсь суровым и презрительным «старшим».

Я помню два раза, когда я произвел на Иосифа сильное впечатление.

В обоих случаях не совсем понимаю почему. Но и то и другое он потом всю жизнь вспоминал.

В самом конце 1970 года я лежал с инфарктиком в Мечниковской больнице. Однажды под вечер появилась моя докторша, милейшая женщина, имя которой я неблагодарно забыл, и сказала, что сделает мне новокаиновую блокаду. Когда годы спустя я рассказал про эту процедуру американскому кардиологу, он удивился. В Америке про такое лечение не слышали. Ломая одну за другой ампулки с новокаином, докторша делала мне уколы в левую сторону груди, всего уколов двадцать, следы от которых аккуратно окружили сердце. На следующий день меня навестил Иосиф. Принес самодельную рождественскую открытку-коллаж. Она у меня целая. Там особенно трогательны верблюды волхвов, вырезан-

ные из пачки «Кэмела». Я показал Иосифу круг на груди. Он даже покраснел от волнения. Перед уходом попросил показать еще раз. Не знаю, почему это произвело на него такое впечатление, но и через восемь лет, показывая мне шрамы после операции на сердце, он вспоминал тот мой припухший красный круг.

А в первый раз дело было, наверное, числа 20 июля 1963 года. Нина с нашим новорожденным первенцем была еще в родильном доме. Мы с Виноградовым шли под вечер по Невскому в «Кавказский» ресторан (в подвале у Казанского собора) отметить мое отцовство. На подходе к ресторану увидели бредущего навстречу Иосифа. Помню, что мы оба с Виноградовым обрадовались. К этому времени уже отношение к Иосифу переменилось, снисходительная ирония сменилась живым интересом к необычному человеку. Мы объяснили Иосифу, что празднуем, и позвали с собой. Он с большой охотой согласился. Отпировав под звуки зурны и тамбурина, мы, разумеется, не захотели расставаться. Купили еще водки и пошли к Иосифу, который жил тогда поблизости, на канале Грибоедова, в квартире Томашевских. Хозяева уехали в Крым. Я был взволнован – с тех пор, как меня увезли из этого дома в 46-м году, я не так уж часто возвращался туда, а после переезда отца в Москву в 50-м вообще был только один раз. Теперь в моем пребывании в этом доме было что-то незаконное, вроде визита украдкой в перешедшее в чужие руки родовое гнездо. Но я со своими товарищами этими

сентиментами не делился. Мы заглянули в кабинет покойного профессора, где стеллажи стояли поперек комнаты, как в библиотеке, и сели со своей водкой на кухне продолжать ресторанный разговор. Именно разговора нам троим не хотелось прерывать, потому мы и пошли к Иосифу, но о чем мы так взволнованно говорили, я не помню. Белые ночи уже прошли, но тьма еще наступала ненадолго, уже светало, и мы сидели за столом, я напротив Иосифа, а Виноградов между нами, и говорили все громче. Я сказал что-то возмутившее Иосифа, и он, почти крича, стал стучать по столу кулаком. «Вот ты стучишь на меня кулаком, – сказал я ему, – и это выдает, что подсознательно ты хочешь меня убить». Как он осекся! Изрекая, не совсем всерьез, свое квазифрейдистское замечание, я никак не ожидал такого эффекта. После паузы он сбивчиво заговорил, и это были благодарные, даже нежные слова. И меня, и Виноградова это удивило и тронуло. В шестом часу утра мы ушли от Иосифа, на пустынном Невском остановили такси. Прежде чем ехать к себе, я завез Леню на Рылеева. Вылезая из машины, он поцеловал меня и сказал: «Спасибо за прекрасную ночь». Шофер посмотрел на нас странно.

После этой ночи мы с Иосифом из знакомых стали друзьями. Но так же, как и с сердечным кругом, я не очень понимаю, почему его так поразила моя реплика.

Сон на вторник, 30.IV.96

Большая квартира. Люди бродят по комнатам. Вечер, неуютно. В той комнате Иосиф начинает читать. Я перехожу туда.

Он сидит перед двумя-тремя знакомыми и читает. Я сажусь рядом. Беру его за руку с нежностью – прохладная рука. Я хочу ему сказать что-то про машинку, которую ему вставят в сердце, но понимаю, что этого говорить не стоит. Вместо этого спрашиваю: можно я зироксну (sic!) то, что ты сейчас читал? Он говорит: ну конечно, конечно. Еще говорит что-то с грустью и нежностью. Роемся в портфеле, достает стихи. Тут сзади подходит М. и говорит своим обычным веселым голосом: «Ну, Лешенька, нам пора ехать». Я говорю: сейчас, сейчас. Ужасно не хочется отпустить руку Иосифа. Перед глазами оказывается разломанный шоколадный шар, из которого выпала бумажка со стишком. Читаю первые строки: «Вот взорванный та-та-та домик / раскрылся сразу точно томик...»

Пробуждение словно бы от необходимости запомнить – не стишок, а чувства нежности, грусти, прохлады. Окончательное пробуждение – я понимаю, что сон был из стихов Иосифа – «С грустью и нежностью», «Сегодня ночью снился мне Петров, он как живой стоял у изголовья...».

Случай на площади Контрдэскарп

Я читал транскрипт интервью, данного Иосифом Адаму Михнику (оно было опубликовано в сокращенном виде), и наткнулся еще на одну скрытую цитату из себя. В интервью несколько раз речь заходит о Солженицыне. В частности, Иосиф говорит, что «Красное колесо» написано не по-русски, а по-славянски, что Солженицын, памятуя о своем статусе великого писателя, принудил себя заботиться о стиле и с этой целью стал подражать Дос-Пассосу («киноглаз»). И то и другое из моей статьи 1984 года в «Континенте», той самой, из-за которой разыгрался грандиозный скандал. Я писал, что Солженицын, почти как Цветаева, пробует неиспользованные возможности русского языка – лексические и грамматические формы, какие по законам языка возможны, но еще никогда никем не употреблялись.

Я писал, что иногда эти эксперименты уж слишком затрудняют чтение: «воронье смельство» – это уже и не по-русски, а на каком-то общеславянском языке. Ну, и про «киноглаз» и Дос-Пассоса – это и все критики отмечали.

Я не уверен, что Иосиф вообще заглядывал в «Красное колесо». Из его высказывания можно заключить, что доспасосовский стиль там преобладает, тогда как на самом деле вставки, именуемые «киноглаз» и стилистически нарочито отличающиеся от основного текста, совсем незначительны

по отношению к массивному повествованию. Да, у Иосифа была выдающаяся способность ловить идеи в воздухе, едва ли не с одного взгляда схватывать философские концепции, но с литературой это не срабатывало. К счастью, он не часто судил о литературе понаслышке. Я помню еще только один случай: когда я его в этом заподозрил. У него есть неудачное эссе о современной русской прозе – «Катастрофы в воздухе». В основе этого эссе – доклад, прочитанный на какой-то конференции где-то в Швейцарии. Место доклада я, может быть, и путаю, но хорошо помню рассказ Иосифа, как он его писал. Собственно говоря, он рассказывал мне не о докладе, а о своей горестной судьбе, о том, как трудно ему приходится из-за блядского неумения отказывать. Вот согласился выступить на конференции, уже в самолете пытался накатать выступление, и вдруг понял, что потом не сумеет разобрать свои каракули, и начал писать крупными печатными буквами! Потом он для «Нью-Йорк Ревью оф Букс» сделал из этого доклада «Катастрофы в воздухе». Там есть хорошие мысли о Достоевском и Платонове, но их он высказывал уже и прежде, а то, что он написал про современную прозу, даже и на Иосифа-то было не похоже – обоймы имен, как в статьях «Литературки», довольно банальные, прямо скажем, характеристики писателей. Он даже хвалил военную прозу Бакланова и Бондарева. Уклончиво проборматывал что-то положительное о Распутине, писателе даже на мой менее придирчивый вкус пошловатом. От удивления

я не удержался и спросил бестактно: «Да ты их читал?» Ответ был слишком краткий и упрямый, чтобы прозвучать убедительно: «Читал».

Что касается моей статьи об «Августе 1914-го», то он ее читал или, по крайней мере, проглядывал в связи с последовавшим скандалом, кроме того, я делился с ним впечатлениями от романа в июне 84-го года в Париже. Как раз тогда я привез статью из Кёльна, неуверенно предложил ее в «Континент», зная, что Максимов Солженицына недолюбливает, и, к моему удивлению, Максимов статью не только взял, но и расхвалил ее до небес.

Я звонил ему с улицы, из телефонной будки, хотел попросить аванс и совсем взмок, выслушивая его похвалы, перемешанные с горькими замечаниями в адрес Солженицына и его последней прозы.

Аванс я просил у Максимова каждый раз, приезжая в Париж. Всегда думал, что уложусь в бюджет, но никогда не получалось. Я просил аванс, а Максимов просто выдавал мне пособие из своего фонда. Фонд назывался как-то вроде «Интернационал борьбы против тоталитарных режимов» и помещался отдельно от редакции на Елисейских Полях. Это был и вправду интернационал – там всегда толпились какие-то камбоджийцы, конголезы... Кстати сказать, надумил меня просить экстренной финансовой помощи у Максимова Иосиф, который и сам к ней прибегал. Ему вообще очень нравилось, что «Континент» платит гонорары, не

очень большие, но сравнимые с гонорарами западных журналов, несколько сотен долларов за подборку стихов или статью. Ему как-то приятно было упоминать это в разговорах. Я его понимал. Дело было не только в деньгах, но еще и в подтверждении нашего профессионального статуса как русских писателей, как-то отделяло от любительщины и графомании, процветавшей в эмигрантской печати. А в тот раз аванс был мне нужен еще потому, что приближался мой день рождения, 15 июня, и я хотел по этому поводу поужинать в хорошей компании – пригласить Марамзина, Иосифа и двух находившихся тогда в Париже Юриев – Кублановского и Милославского.

Деньги за борьбу с тоталитаризмом были получены. Гости приглашены. Марамзин, с его знанием этого дела, выбрал ресторан. Иосиф, никогда не забывавший моего дня рождения 67-го года, вздыхал, что, жаль, не будет Уфлянда и Герасимова. Это когда мы говорили по телефону 13 июня. И договорились еще поланчевать вместе на следующий день. Встречу назначили в кафе на площади Контрдэскарп.

На редкость благодушное у меня было тогда настроение. Погода в Париже стояла прелестная. Я показывал Париж дочери Маше, проводил время со старым другом Марамзиным и с новыми талантливыми приятелями – то с Кублановским, то с Милославским. С Иосифом ежедневно болтали, отводили душу. Даже то, что мы встретимся завтра на площади Контрдэскарп, было приятно. Я хорошо знал и любил

это очаровательное замкнутое городское пространство, почти все занятое фонтаном, приткнувшись к которому всегда попивали вино из литровых бутылей два-три клошара.

Вот по контрасту с чересчур хорошим настроением и резануло меня то, что произошло 14-го. Собственно, «произошло» – неправильное слово. Произошло – ничего. С утра мы с Машей пошли на что-то поглядеть, на могилу Наполеона, что ли. Потом очень спешили – в метро и от метро, чтобы успеть к назначенному времени, часу дня. Пospели. Прибежали на площадь Контрдэскарп. Иосиф сидел за столиком на тротуаре. С ним был Адам Загаевский, молодой польский поэт. Есть такое ироническое выражение «Разбежался!». Со мной это произошло почти буквально, потому что я, спеша, подошел к столику и наткнулся на ястребиный и, как мне показалось, ненавидящий взгляд Иосифа. Ошарашенный, я что-то заговорил. Иосиф явно через силу промычал что-то в ответ. Поляк глядел в сторону. Положение становилось нелепым. Я сказал: «Ну ладно, мы пойдем». Иосиф кивнул и отвернулся. Мы пошли. Идти нам было некуда.

День рождения отметили без Иосифа. Он звонил Марамзину, просил передать, что ему понадобилось срочно уехать в Италию. Еще через день позвонила Вероника, чтобы перед отъездом из Парижа я к ней обязательно заглянул. И я узнал, что меня-то еще только краем задел Иосифов нервный срыв. Но это уже не моя история... «Он попросил передать вам подарок», – сказала Вероника. В пакете была элегантная се-

рая хлопчатобумажная блуза и полосатая рубашка. Странно, но я уже видел этот наряд в витрине недешевого магазина на бульваре Сен-Мишель.

Надел я впервые обнову недели через две в Мюнхене, когда отправился на радио «Свобода» читать свою солженицынскую статью. В коридоре радиостанции меня познакомили с Гариком Суперфином, всего несколько недель как освобожденным из советского лагеря и выпущенным на Запад. Во время нашего короткого разговора Суперфин как-то уж очень пристально меня разглядывал. Потом он сказал: «Извините, но вы одеты точь-в-точь, как одевают зэков в спецлагерях».

«Украдены Ключи Вселенной»

Я никогда не знал ничего толком про ранних, еще до Рейна, Наймана, Бобышева, до Уфлянда, друзей Иосифа. Как это назвать – брезгливость? Снобизм? Не слишком разбираясь в собственных чувствах, я не любил немытую богемную молодежь, кружки вокруг харизматических дилетантов, многозначительную метафизическую трепотню. Немножко пьянства, немножко наркоты, немножко распутства, неумелая писанина или малевание и жизнь за счет какой-нибудь изнуренной мамы. Смутно именно такой мне представлялась компания, с которой якшался Иосиф до нашего знакомства, и то, что он от нее отошел, я ставил ему в заслугу. Именно поэтому меня особенно возмутили лернеровские доносы, пресловутая статья в «Вечернем Ленинграде», суд. Ведь там Иосиф изображался как исчадие этой клоаки, а он уже давно не имел с ними ничего общего. Нет, и тогда я не считал, что советская власть ошибается только по поводу Иосифа, а каких-то подлинных тунеядцев можно сажать в тюрьму. К тому времени у меня уже были вполне ясные представления о советской власти и все ее действия я считал глупыми и гнусными. Бородатый обормот-художник-поэт-буддист-окультист в рваном свитере был для меня просто малоприятным человеком, но комсомольский функционер или гэбэшник в гэдэровском костюмчике – выродком.

Но на самом деле я почти ничего не знал о круге друзей юного Иосифа. Что-то мне начал мало-помалу рассказывать, когда приходилось к слову, Гарик Восков, единственный из приятелей юных лет, кто был действительно близким другом Иосифа и остался на всю жизнь. Гарик достался мне как бы в наследство от Иосифа. Мы подружились уже после 72-го года, и в Энн-Арбор он приехал вслед за нами. За эти годы я от него слышал много историй про юного Иосифа, про их общее увлечение индуизмом, про Уманского и Шахматова, но все фрагментарно. И вот, работая над биографическим очерком, позвонил Гарику: не даст ли он мне координаты

Уманского в Нью-Йорке. Гарик сказал, что звонить Уманскому бесполезно: «Он Иосифа ненавидит. Он всегда говорил, что Иосиф не поэт, а торговец газированной водой. Что Иосиф такой же вун, как и его отец».

Вот еще что рассказал на этот раз Гарик.

Рассказ Гарики

(по телефону утром 7 августа 2003 года)

Мы с Уманским очень дружили несколько лет, катались по ночам на велосипедах...

Шурка был вундеркинд. В раннем детстве уже замечательно играл на рояле. Его мать рассказывала, как во время войны где-то, где они жили в эвакуации, ему было лет семь-восемь и он на концерте всех поразил

своей игрой. Там был какой-то важный нарком. Этот нарком пришел в восторг и говорит: «Мальчик, а теперь сыграй для нас еще». А мальчик схватил палку и – тр-р-р-р – по отопительной батарее: «Вот для вас!»

Его дедушка был поляк, профессор биологии и толстовец, все раздавал. Он вырезал из дерева маленькую свинью. Она открывалась, и внутри можно было рассматривать все органы.

Уманский был небольшой, похож на Сократа – курчавый, негроидные ноздри. Несильный от природы, но очень выносливый, экспансивный и привлекательный. Очень развил себя йогой. Мог прямо как был, в одежде, в ботинках, принять позу лотоса и другие позы хатха-йоги. Но еще до занятий йогой научился останавливать у себя боль. А главное – останавливать мысли, когда они его уж очень одолевали.

Начали-то мы с ним с чтения Демокрита и других греческих философов, а потом нашли довоенное издание Ромена Роллана «Жизнь Рамакришны». Потом наткнулись на Блаватскую, на какой-то теософский журнал – название забыл – помню, что место издания: Париж и Лондон. Это мы все читали в Публичной библиотеке. Уманский, оборванный, небритый, хотя борода у него особенно не росла, сидит в читальном зале, читает «Йога-сутру». Сидит-сидит да вдруг как заорет: «Потрясающе! Я так и думал!»

Однажды я, как заложник, сидел в Публичке целый день. Мы взяли книгу про йогу, Уманский спрятал ее в штаны и вынес из библиотеки, дома всю

перефотографировал, потом принес обратно и я книгу сдал.

А еще одно время в Публичке висело замечательное объявление: «Украдены Ключи Вселенной». Эту книгу один наш знакомый украл, но целый год нам не говорил.

Мы с Уманским долго изучали Блаватскую – как надо медитировать, чтобы полностью отключаться и проходить сквозь стены. Наконец решили попробовать. Намедитировались, пошли по коридору и врезались лбами в стеклянную дверь. Стекла были толстые, не разбились.

Один наш приятель работал в Публичке разнорабочим и нашел в подвале кучи книг неучтенных, выброшенных.

В основном библии. Там, например, были французские библии XVIII века. Он их потихоньку выносил. И еще там были разные книги по оккультизму. Однажды он своровал из подвала книгу о таро. А Миша Мейлах раздобыл книгу Владимира Шмакова, 1914 года, про арканы Гермеса Трисмегиста. Цифровая символика: 0 – Господь не делает ничего, 1 – начало действия, 2 – то, в чем он создает, 3 – активность, процесс действия, 4 – мир создан, 5 – жизнь в этом мире, и так далее до 21. С 22 начинается новый каскад до 42, и так далее до 96. (Цыганское гадание на этом основано.) И еще про символику букв в каббале. Я Иосифу все это рассказывал, и этого много в «Исааке и Аврааме».

Благодаря этому другу, который книги из подвала

таскал, я крестился.

Тут я перебил Гарика: «А Иосиф?» «Нет, – сказал Гарик, – Иосиф не крестился». После этого Гарик заговорил о харизматичности Уманского.

Он, например, однажды шел по Невскому, а возле Аничкова дворца (Дворца пионеров) стояла группа подростков, разговаривали о стихах. Они были из кружка поэзии. Уманский остановился, заговорил, они все так и пошли потом за ним в его подвал. И уже вокруг него потом группировались, он их учил. Там был этот, хромой (Я: «Кривулин?» – Гарик: «Да»), Игнатова и потом эта, ну, потом она еще была замужем за евреем с кривым глазом, я к ним приходил, у них дети срали прямо на пол, потом они уехали в Израиль. Самая красивая была Марина Нежданова. Уманский на ней женился. Учил ее математике, йоге, они стали вегетарианцами, а то совсем ничего не ели – уходили в лес без еды и по три дня там по снегу ходили. Потом она ушла от Уманского к «черту», а от «черта» к одному психиатру. А Уманский, уже когда вышел из лагеря, женился на бывшей жене Горбовского Анюте. Анюта потом в Америке повесилась.

«Черт» – художник один. Рисовал себе мефистофельские брови и гулял по Пестеля. Говорил: «Я – черт». Умел гипнотизировать, всю свою коммуналку с ума свел. Он зарабатывал тем, что учил косить от армии на медкомиссии. Люди ему хорошие деньги платили. Но Уманскому бы и так дали

белый билет, без косения. Вот когда возле Уманского «черт» появился, Иосиф и стал говорить, что Уманский занялся чернухой.

Мы с Иосифом решили, что на Уманского так в конце концов индийская философия повлияла. В ней так много всего построено на отрицании, что он и пришел к полной пустоте.

Иосифа привел к Уманскому Шахматов. Познакомились Шахматов и Уманский так. Шахматов после армии работал в Ленинграде, ехал куда-то на грузовике и вдруг видит: возле Пулкова по шоссе идет совершенно голый человек. Это был Уманский.

Шахматов

(Здесь я вставляю отрывок из своего биографического очерка об Иосифе.)

29 января 1962 года Бродского арестовали и два дня продержали во внутренней тюрьме КГБ на Шпалерной. Велось следствие по делу двух его знакомых, Александра Уманского и Олега Шахматова, и Бродскому могли предъявить серьезные обвинения.

Олег Шахматов, отставной военный летчик, способный музыкант и человек с авантюрной жилкой, был лет на шесть старше Иосифа. С детства питавший слабость к авиации Иосиф сошелся с ним довольно близко. Шахматов познакомил его с разносторонне

одаренным Александром Уманским, увлекавшимся физикой, музыкой, философией и, в особенности, восточным мистицизмом и западным оккультизмом. После короткой отсидки за дебош в женском общежитии ленинградской консерватории Шахматов уехал в Самарканд и поступил там в консерваторию¹³. В декабре 1960 года Бродский поехал туда навестить приятеля. (Гарик: «Я купил ему билет в Самарканд, потом проклинал себя за это».)

Несколько недель, проведенные в Самарканде с лихим приятелем-авантюристом, имели серьезные последствия в дальнейшей судьбе Бродского. Однажды в вестибюле самаркандской гостиницы он увидел американского адвоката Мелвина Белли (Melvin Belli, 1907–1996). Белли был очень знаменит в Америке. Среди его клиентов были голливудские кинозвезды, в том числе Эррол Флинн, которым Бродский восхищался в детстве, а позднее, через три года после самаркандского эпизода, Белли защищал Джека Руби, убившего убийцу президента Кеннеди Ли Харви Освальда. Белли и сам снимался в кино. Бродский его узнал по запомнившемуся кадру из какого-то американского фильма. Импровизированно возник план передать с американцем рукопись Уманского¹⁴ для публикации за границей, но Белли эту просьбу из

¹³ См.: Волков С. Указ. соч. С. 66.

¹⁴ По воспоминаниям Г. Гинзбурга-Воскова, это был политико-философский трактат, написанный в форме письма президенту Кеннеди.

осторожности отклонил¹⁵. (Гарик: «Шахматов уговорил Уманского написать два письма президенту Кеннеди. На английский переводила и перепечатывала подруга Иосифа Оля Бродович»).

В письмах Уманский, видимо, открывал Кеннеди глаза на недостатки советской системы и порочность коммунистической идеологии.)

Вслед за этим друзей осенил фантастический план побега за границу. Бродский, много лет спустя, описывал его так: купить билеты на маленький рейсовый самолет, после взлета оглушить летчика, управление возьмет Шахматов, и они перелетят через границу в Афганистан¹⁶. В воспоминаниях Шахматова этот план выглядит несколько более реалистическим. У него был пистолет. Когда летчик начнет вырубивать на взлетную полосу, Шахматов, угрожая пистолетом, вытолкнет его из самолета; перелетят они не куда попало в Афганистан, откуда их выдали бы советским властям, а в Иран, на американскую военную базу в Мешхеде¹⁷. Были куплены билеты на рейс Самарканд-Термез, но перед полетом Бродский устыдился намерения причинять вред ни в чем не повинному пилоту, и план был похерен (Шахматов пишет, что

¹⁵ В книге Белли и его спутника Дэнни Джонса о путешествии по СССР (*Belli M.M., Jones D.R. Belli Looks at Life and Law in Russia. Indianapolis, N.Y.: The Bobbs-Merrill Co., 1963*) этот эпизод не упоминается.

¹⁶ Волков С. Указ. соч.

¹⁷ См.: Шахматов О. «Грехи молодости» сквозь призму лет и мнений // Понедельник (Вильнюс). 1997. 7–13 ноября. № 45. С. 11.

просто рейс отменили).

Год спустя Шахматов был арестован за незаконное хранение оружия. Вслед за ним арестовали Уманского, и обвинять их стали уже в изготовлении и распространении антисоветской литературы. На следствии Шахматов среди прочего рассказал и о неосуществленном плане побега за границу. Вот тогда Бродский и был арестован, но, поскольку факта преступления не было, да и о намерении были только показания Шахматова, через два дня его отпустили. Под пристальным наблюдением КГБ он, однако, оставался до выдворения из страны.

Вот что писал два года спустя в официальной справке офицер ленинградского управления КГБ Волков: «Шахматов и Уманский 25 мая 1962 года осуждены за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы каждый. Осуждены правильно. Участие же Бродского в этом деле выразилось в следующем.

С Шахматовым Бродский познакомился в конце 1957 года в редакции газеты „Смена“ в г. Ленинграде. В разговоре узнал, что Шахматов также занимается литературной деятельностью. Это их и сблизило. Затем он познакомился и с Уманским и вместе с Шахматовым посещали его.

После осуждения Шахматова в 1960 году за хулиганство последний по отбытии наказания уехал в Красноярск, а затем в Самарканд. Оттуда прислал Бродскому два письма и приглашал приехать к нему. При этом хвалил жизнь в Самарканде.

В конце декабря 1960 года Бродский выехал в Самарканд. Перед отъездом Уманский вручил Бродскому рукопись „Господин Президент“ и велел передать Шахматову, что Бродский и сделал. Впоследствии они эту рукопись показали американскому журналисту Мельвину Белли и выяснили возможность опубликования рукописи за границей. Но, не получив от Мельвина определенного ответа, рукопись забрали и больше никому не показывали.

Установлено также, что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете за границу. Кто из них был инициатором этого разговора – не выяснено. Несколько раз они ходили на самаркандский аэродром изучать обстановку, но в конечном итоге Бродский предложил Шахматову отказаться от этой затеи и вернуться в город Ленинград.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.